

Александр Левитов

Нравы московских девственных улиц



Александр Иванович Левитов

Нравы московских девственных улиц

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=657455
Сочинения: Худож. лит.; М.:; 1977*

Аннотация

«Иван Сизой матушке Москве белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здоровья желает, всем ее широким четверем сторонам низкий поклон отдает.

Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, – это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал девственными, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразною бедностью...»

Содержание

I	4
II	7
III	19
IV	28

Александр Иванович Левитов Нравы московских девственных улиц¹

Писано, памятуя о погибающем друге.

I

Иван Сизой матушке Москве белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здравия желает, всем ее широким четверем сторонам низкий поклон отдает.

Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, – это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал девственными, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразною бедностью.

Конечно, этого добра, то есть бедности, нам не занимать стать, и, как я сказал уже, больше года шатаясь по деревням и селам, по городам и красным пригородам, я имел-таки немало случаев видеть голод

и холод в мещанских хороминах, молчаливое и без-
устанно работающее уныние в мужицких избах; но это
что же за бедность? Лица не московские, пораженные
этою болезнью, не живые лица, а как бы каменные
статуи, изображающие собою беспредельное горе, и
я только плачу втихомолку, когда такая статуя окинет
меня своими впалыми, без малейшего признака слез,
глазами. Плачу, говорю, и вместе с тем глубоко стра-
даю от той нравственной боли, которою всегда уязв-
ляют мою душу эти глаза, ибо в них мои собственные
глаза имеют способность читать такого рода красно-
речивую вещь:

– Ты, брат, тово, не гляди лучше на меня, – мне и
без тебя тошно. Мало ты мне, друг, утечи своим гля-
деньем даешь. Ты бы там иначе как-нибудь для меня
порадел...

Всякий своею похотью влеком и прельщаем; сле-
довательно, и я, как всякий, имею свою похоть, то
есть болею при виде бедности немосковской; ибо она
молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда
она разбогатеет и хоть сколько-нибудь оживет. Напро-
тив, бедность московских девственных улиц меня ра-
дует даже, потому что она рычит и щетинится, когда
ей покажется не очень просторно и не очень сытно в
ее темных и тесных берлогах, – в каковых движени-
ях жизни я замечаю несомненные признаки того, что

бедность эта скоро поправится и разбогатеет, хотя, может быть, и не вдруг, хотя богатства ее будут далеко не те, про которые говорят, что они неисчерпаемы. Ну да ничего! Нам и это на руку, потому что голодному рту не до горячего, – ему бы только мало-мальски чем-нибудь тепленьким пораспарить свое иссохшее нёбо...

II

В Москве у меня бездна литературных и университетских друзей, которые меня весьма терпят и у которых, следовательно, я удобно мог бы сложить свой страннический посох, но, послав их в душе моей к богу в рай, я по прибытии в Москву направился прямо в девственную улицу, где жил мой старинный друг, старый отставной унтер-офицер, который был кум, то есть у которого, благодарение создателю, мне довелось привести «в крещеную веру» троих детей.

В девственной улице я не заметил никакой перемены. В сравнении с другими столичными улицами она была тиха до мертвенности. Огни, светлевшиеся из окон ее маленьких деревянных домишек, были похожи на деревянные гнилушки, которые так уныло светятся ночью из-под печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевня девственной улицы. Из ее тусклых окошек, освещенных каким-то красноватым светом, порой вырывались какие-то неясные звуки, по которым решительно нельзя было определить, поют ли там песни или плачут, – такие это были смешанные звуки. И временем, когда каким-нибудь гостем широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шум-

но взвизгивая на своих заржавевших петлях, звуки делались слышнее, и тогда человек неопытный, случайно проходящий по девственной улице, непременно бы остановился против заведения и пугливо прислушался к этим звукам, потому что неопытному пешеходу в них бы слышалось слово «караул» – слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся из чьего-то горла, но остановленное на половине своего взлета и снова как бы впихнутое в это горло чьим-то лютым кулачищем.

Но я не счел этого звука за такой караул, ради которого следовало бы остановиться около харчевни, потому что мне коротко известны обычаи девственной улицы. Это был просто крупный разговор, который вел закутивший мастеровой с своею благоверной, пришедшей с целью вытащить благоверного из заведения и отвести «на покой на фатеру».

– Пош-шол вон! – кричит на жену повелительным горловым баритоном урезавший здоровую муху кутила. – Пош-шол вон! – повторяет он еще повелительнее, забывший в подпитии, что ежели хочешь прогнать откуда-нибудь свою жену, чтоб она не мешала молодецкому разверту, так нужно сказать ей вовсе не «пошел вон», а «пошла вон».

Затем начинались плаксивые тоны жены:

– Иван Прокофьич! Что же мы завтра есть станем?

– Об этом ты не горюй! Что об этом горевать – об

еде-то? Эх ты, бесстыдница! О чем нашла горевать, а? Гаврик! – обращается кутила к фамильярно улыбавшемуся половому, – о чем она, дурища, горюет-то? Об еде, ха-ха-ха-ха! Пош-шол вон! – и затем муж, как глава над своею женой, употребляет даже некоторую силу и пытается пропихнуть ее в скрипучую дверь на тихую морозную улицу.

Итак, вы видите теперь, что серьезного караула в харчевне девственной улицы быть не может, потому что в конце концов, ежели караул слышится иногда из окон, веселящих улицу своим красным и, примечено мною, как-то злобно и насмешливо моргающим светом, так вовсе нечего прислушиваться к нему, потому что все это ни более, ни менее, как «своя от своих»...

Историю эту, с целью получить в конце ее незловредный караул, можно продолжать таким образом:

– Остались ли деньги-то у тебя? Ай уж все пропил? – спрашивает жена, усевшись наконец с супругом за один стол около грязного, загаженного мухами графинчика из толстого стекла с мутною водкой.

– Какие, черт, деньги? Пропивать-то мне нечего... Это уж я на сертук валю. Вот добрая душа, Гаврик, в двух серебра принял, а домой я и в твоём платке как-нибудь дотащусь.

Мастеровой слезливо начинает обыкновенный рассказ про то, как часто понесешь работу к барину и как,

идучи к барину, рассуждаешь, что вот-де сейчас получу деньги, прямо на рынок, искуплю там говядины, сапожки, может, али штанишки какие-нибудь старенькие не попадутся ли, а там накуплю товару – и валяй опять за работу. Чудесно! Знай денежки огребай. Рассуждаешь таким-то манером, а потом и не увидишь, как очутишься в кабаке.

– Он говорит, барин-то: «Иван Прокофьич! Ты с меня деньги-то недельки две пообожди. Знаешь, говорит, за мною не пропадет». Я ему говорю: «Знаю, что не пропадут, только, ваше благородие, мне деньги очень нужно. Сами изволите знать: жена, детей четверо...» – «У меня, – говорит барин и смеется, – у меня, может, детей-то этих штук с сорок найдется, да ведь я ни к кому не пристаю. Приходи уж через неделю, что с тобой делать, а теперь мне некогда, прощай». С тем от него и ушел, – добавляет мастеровой, возвышая голос, – а от него, с великой злости, прямо в кабак, а из кабака сюда, потому, что же я завтра без денег стану делать?

После этого крикливого вопроса и начинается, что называется, самая катавасия, потому что, кроме сюртука, принятого добродушным Гаврилой в двух рублях, чета начинает валить еще на три рубля, которые с большим удобством олицетворяет истасканный шерстяной салоп супруги.

– Видишь теперь, какая у меня супруга? – спрашивал мастеровой у полового, выставляя ему на вид собственно то обстоятельство, что супруга с видимою охотой куликнула две рюмки залпом, как бы стараясь сразу сравняться с своею главой. – Сладсть у меня супруга, сговорчивая. Она мне ни в чем никогда не перечит. Что я скажу, то и баста.

Супруга между тем не без грации закусила две рюмки солониной с солеными огурчиками, а супруг продолжает:

– Мы с ней двенадцать годов душа в душу живем! Гаврил! Слушай, я тебе расскажу, как я женился на ней. Она в это время молодая была и из лица не в пример теперешнего красивее; а князь, у кого она в то время на содержании была, призывает меня и говорит: «Вот тебе, Иван Прокофьев, невеста! Ты, говорит, с ней не пропадешь, потому приданого за ней даю сто рублей, акромья, говорит, постели и разных вещей...» Я ему и говорю: «Покорнейше благодарим, ваше сиятельство!» Сказал так-то и женился; а она, шельма этакая, целый год после законного брака шаталась к нему, к князишку-то своему. Вот она, Гаврил, какая изверг у меня! Ты, Гаврил, не гляди на нее, что она такую смиренной глядит. Шельма она у меня преестественная, Гаврил! Ты думаешь, милый человек, через кого я теперича погибаю, – через нее, через анафему!

Вот через кого! У! Будь ты проклята! Возьму вот да как начну по морде-то охаживать, так небойсь забудешь про княжество-то про свое!

Половой, слушая эти излияния, мялся на одном месте и насмешливо улыбался с видом человека, который, ежели бы не стеснялся своим лакейским положением, непременно сказал бы:

«Комиссия, право, эти женитьбы нашеньские!.. Что криво да косо, то Кузьме-Демьяну... Всегда уж нашему брату-мастеровому, бедному человеку, такую-то сволочь подсунут, что целый век казнишься да страдаешь, глядя, как она кровные мужнины деньги, на офицеров прохожих любующись, на чаях да на кофях проживает!.. Идолы бабенки, а паче тот идол, кто их, тонкостям этим научимши, нашему брату на шею наваливает...»

– Ты вот что, – отнеслась достаточно уже выпившая супруга к мужу, – ты поменьше болтай, а то ведь за болтанье-то вашего брата по щекам лупят...

– Ну, уж ты с этим делом, надо полагать, подождешь немного, по щекам-то. Право, подождешь! – сатирически предполагает муж, выпивая приличный чину и званию столичного башмачника стакашек.

– Нет, не подожду, – настаивает супруга, выпивая тоже приличный стакан. – Долго я тебя, пьяного дурака, не учила.

– Вряд ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскорее поучу.

– Ну, уж это не хочешь ли вот чего? – осведомляется супруга, повертывая перед очами возлюбленного посплунявленный кукиш.

– А ты не хочешь ли вот чего? – в свою очередь, любопытствует супруг, ухватив супругу за жидкие космы.

Случайно отворенная в это время дверь заведения закрипела на своих петлях, и изнутри кабака вылетело женски визгливое «караул» и басовитые отрывистые слова: «Вот тебе, шельма, вот тебе!» Слышно было сдержанное хихиканье полового Гаврилы, сопровождаемое протяжным возгласом: «Ох! и комедианты же эти сапожник с сапожницей! Право, комедианты! Этак-то они у нас цепляются друг с дружкой каждый божий вечер!..»

Но девственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно быть, она прислушалась к ним, что даже тени внимания не пробудили они на ее безжизненно-молчаливом лице.

И кроме этой, другие, более крикливые сцены разыгрывались на улице, но и они не делали ее веселее, потому что, против русского обыкновения, они не собирали около себя толпы проходящих зевак, дружный и шумливый говор которых уверил бы человека, в первый раз занесенного в этот край, в том, что край

этот вовсе не какое-нибудь заколдованное царство, осужденное могучим чародеем на вечный и беспробудный сон.

– Кар-р-раул! Кар-р-раул! – орет какой-то молодой голос в непроницаемой темноте уличного конца.

– Ты что же это? – спрашивает крикуна хрипучий бас будочника. – Ты опять свои шутки шутишь? Мало я тебе онамедни шею за них намылил? Ежели мало, так скажи, я тебе еще прибавлю.

– Дядюшка! Да ведь скучно!.. День-то деньской сидючи за работой, чего не придумаешь?.. Выбежишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчас умереть, светлым раем тебе покажется, – ну, тогда ты не выдержишь и в радости заорешь...

– То-то в радости! Гляди, ты у меня иным голосом, пожалуй, вскрикнешь, как вот ножнами начну тебя по мягким-то оторачивать... Уймись, парень! Ей-богу, уймись!

– Не буду, дядюшка, однава дыхнуть, не буду, – с хохотом уверяет прежний голос, – только теперича в последний раз позволь.

– Ну, парень, придется мне, должно быть, с моего места встать... Разозлил ты меня, паренек!

И затем уличную тишину нарушает какое-то шуршание, словно бы какой одышливый и ленивый человек собирался в дальнюю путь-дорогу.

– Кар-р-раул! – снова из всех легких трубит паренек, захлебываясь от хохота.

После этого слышится легкое захлопывание калитки и шлепанье босых ног по оттеплевшему снегу.

– Экой парень – разбойник! Удрал уж... – говорит будочник, с прежним сопеньем и пыхтеньем усаживаясь на покинутое было пригретое место. – Кажинный день так-то он меня беспокоит...

Поравнялись со мной какие-то две еще не очень пожилые женщины с вениками под мышками, с узелками в руках, с лицами, прорезывающими даже ночной, ничем не освещаемый мрак девственной улицы алым румянцем, которым, как пожаром, освещались их пухлые щеки.

– Что же, хороша нонича фатера-то у тебя? – спрашивала одна подруга другую.

– Эдакая ли фатера чудесная – страсть! – отвечала подруга. – Мы ее онамедни чудесно обновили. Пришел эфта в прошлое воскресенье мой (у меня ныне столяр), солдатика-приятеля привел. Пришодчи, как следует, поздравили с новосельем, водки полуштоф солдатик-то из-за обшлага вытащил, я ему селедку с лучком оборудовала. Полштоф выпили, другой послали; другой выпили – третий, а там и за четвертым. И так-то, милая ты моя, все мы нарезались тогда, не роди мать на свет божий! Словно бы безумные толка-

лись. Нарезамшись, мой-то и сцепился с солдатиком драться, – я сейчас же к своему на заступу пошла; а солдатик видит, что не совладать ему с нами, взял да у столяра ухо напрочь, совсем с хрущом и оттяпал. Завизжал столяр так-то жалостно, и кровища из него хлестала, аки бы из свиньи зарезанной. И дивись, милая, с другой фатеры, ежели не в нашей улице, так бы нашего брата за такую историю знаешь бы как в шею турнули, в три бы шеи турнули; а наш хозяин (благородный у нас хозяин-от!) хошь бы словечушко вымолвил. «Ничего, говорит, господь с ними! На то, говорит, и праздник дан человеку».

– У нас, мать, по всей нашей улице хозяева все страсть как смирны, – подтвердила другая товарка. – У меня тоже каждый праздник почитай и-их какие кровопролития сочиняют! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Азарны эти мужики.

– С ними поводишь только! Я уж, когда они так-то сцепятся, прямо им сказываю: «Да ступайте на двор, лешаки, – там, говорю, просторнее». Так-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье аккурат не на живот, а на смерть чешутся!..

– Это у них истинно, что каждое воскресенье творится неупустительно, – сказал мне вдруг вышедший из-за угла старик – мой кум, к которому я шел. Я то-

же, признаться, поджидал его, потому что сам он, тоже неупустительно, возвращался в это самое время из кабака, в котором обыкновенно он проводил летние и зимние вечерки.

– Издали еще разглядел я тебя, – продолжал старик, обнимая меня. – Смотрю этта и думаю: а ведь это куп идет!

По вечерам, то есть огорошив в кабаке полуштоф и туго набивши нос забористым зеленчаком, старик приобрел способность выговаривать буквы м и н как п и б, и потому в таких случаях он обыкновенно звал меня куп, а ежели в дальнейшем разговоре надобилось ему употребить слово небо, он просто-напросто, избегая греха сказать небо, указывал рукою в потолок, и все это понимали как нельзя более хорошо.

– Откуда тебя бог принес? – спрашивал меня старина, видимо обрадованный. – Давно ли?

– Прямо с дороги и прямо к тебе, – ответил я.

– Вот за это люблю, что не забыл друга.

– Ну что тут, как у вас? – любопытствовал я. – Новенького чего нет ли?

– Чему у нас новенькому быть? – спросил, в свою очередь, кум как бы с некоторым унынием. – Все у нас, друг милый, по-старому. Есть, что ли, деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь из одежды бы на угощенье спустил...

– Есть, – утешил я старину, – и насчет одежды ты не беспокойся.

– То-то, ты гляди у меня: финтифлюшек-то, знаешь небойсь, не очень-то я люблю...

И потом, прихвативши в попутном кабаке некоторый штоф и в попутной лавочке два десятка соленых огурцов мы с кумом благополучно спустились в его плачевный подвал.



Кумов подвал был разительно схож с самим кумом. Оба они представлялись наблюдающему глазу не мытыми и не чищенными от самого их сотворения.

И действительно, кума погладили один только раз во всю его семидесятилетнюю жизнь, и именно погладили в военной службе, и при всем том, что это глажение уже известно, какое бывало в старину, при всем том, что оно продолжалось не менее как тридцать годов, кум все-таки остался не чем более, как саратовским мужиком, который, хотя вволю насмотрелся разных людских хитростей, но из которых тем не менее сам он ни одною настолько не поинтересовался, чтобы изучить ее и, в свою очередь, повеселить ею добрых людей. Он даже не усвоил себе той кавалерской выправки, которая отличает всякого отставного солдата, и ежели у него и были длинные и густые чернобурые усищи, так это были вовсе не те бравые, нафабранные, так называемые «разусы», которые так ухарски закорючены на смеющейся щеке разухабистого военного детины, а усы дугою, строгие, молчаливые, хохлацкие, так сказать, усы.

Чуть ли еще не в год кумовой отставки пришли в Москву из глубины дмитровских дебрей толстые

бревна, из которых на живую руку был сметан дом девственной улицы с своим подвалом, приютившим старика-солдата. И так как всякому известно, что каждый россиянин из самого отличного материала делает самые скверные вещи, то хозяин, сгубив столетнюю лесную красоту на построение своей безобразной домовины, глубоко задумался собственно над тою мыслью, что в подвал-то, пожалуй, ни одного жильца не заманишь. Так поражены были даже невзыскательные глаза московского домохозяина неуклюжестью подвала и каким-то гневным унынием, воцарившимся в нем с первых дней его постройки...

Опечалился хозяин при взгляде на дело рук своих до того даже, что стал служить молебны об изгнании из хоромины некоего, как он говорил, «унывного» духа, нагонявшего на него оторопь; но, несмотря ни на что, дух, вероятно, в видах покарания хозяйского безобразия, испортившего столько прекрасных деревьев, из хоромины не выходил. Слышали даже соседские кухарки и рассказывали об этом под секретом, что по ночам словно бы плачет кто в том подвале, шепчет что-то неразборчивое и временами, – редко, впрочем, – хохочет чему-то...

Во время такого порядка вещей, когда хозяин окончательно уже отчаялся в возможности заманить в подвал какого-нибудь жильца, к нему пришел отстав-

ной солдат, старый такой, молчаливый и даже как будто сердитый. Посмотрел на этого солдата хозяин и тут же тихомолком подумал: «А! Это он пришел ко мне подвал нанимать! Лучше быть нельзя»; а солдат, как только взглянул на подвал, сейчас же подумал: «Вот чудесная хата! Лучше требовать невозможно»; а сам подвал, как только его обозрели, угрюмо и почти неслышно прошептал: «Мало в мои стены веселья этот солдат принесет! А мне-то и на руку, потому не охотник я музыкантить-то!.. Такого жильца я долго жду!» – и при этом, говорят, в первый и последний раз улыбнулись с радости тогда еще новые стены подвала, точно так же как и у солдата очень что-то шевелились в это время усищи, как бы стараясь стрясти с себя чужую, случайно налетевшую на них и запутавшуюся в их непроходимой чаще, улыбку.

В этом-то, так сказать, печально говорящем подвале целые двадцать лет тянулась печальная жизнь солдата. В пять лет моего с этими интересными субъектами знакомства я не мог подметить ни в том, ни в другом ни малейшей перемены, и как за год перед настоящим моим посещением я оставил их, уныло-серьезных и гневно-молчаливых, точно такими же нашел их и теперь. Даже горемыки-жильцы подвалов в девственных улицах, наваливавшиеся на простого старика, как наваливаются осенние листья на терпе-

ливую землю, были всё те же, за исключением разве только одного отставного капитана, тем, впрочем, только и замечательного, что он нанял себе помещение на огромной кумовой печи, куда он втащил нечто вроде кушетки, служившей ему постелью и вместе с тем сундуком. Капитан этот нисколько не характеризовал бы собою московских девственных улиц, если бы про него не рассказывали с божбой, что он никогда ничего не ест и не пьет, ибо никто ни разу не видал, чтоб он когда-нибудь удовлетворял этим простым требованиям человеческого организма. Кроме этого заслуживавшего внимания обстоятельства, капитан бросался в любопытные глаза тем еще, что не любил платить за квартиру и, говоря настоящее дело, не любил даже и того, когда ему напоминали об этом. Старый, расслабленный и поросший весь как бы какою щетиной, он по целым дням молчаливо переезжал с печи на кушетку и обратно, ничем не беспокоясь и никого не беспокоя; но как только кум заикался ему, что, дескать, ваше вышебородие, нельзя ли, дескать, насчет недоимочки за фатеру, – капитан сначала производил на печи какой-то необыкновенный шум, смешанный с визгом и рычаньем, потом показывал с печи свое обрамленное седо-бурыми волосами лицо, оскалив зубы, и начинал воевать, то есть бросал с печи в приютившего его человека чем ни попало.

– За-р-ряжай ружье! – орал он старческим, но азартным голосом. – Кладсь! П-ли! Я вас, черти! Р-рота, за мной! Д-дети, скорым шагом марш! С богом!

– Ну, пошла писать военная кость! – с хохотом толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая с печи, из-под капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полешки.

– Будет, будет, ваше вышебородие! Перестаньте только, Христа ради! – умолял кум жильца о прекращении батального огня.

– Ур-ра! Наша взяла! – окончательно вскрикивал старый вояка, снова ныряя на неопределенное время в запечное пространство.

– Очень тронулись! – такими словами рекомендовал мне кум своего нового жильца. – Что будешь делать с бедностью? Иной раз сунешь ему на печку-то щец, хлебца, не токма что свои деньги... Выручишь их, свои-то деньги, с моими жильцами! Надо-едает временем только – ужаси как... Раздразнят его башмашниковы ребятенки, так он целый день, лежа на печи, ртом-то все так-то выделывает: пу! пу! п-пу! Артиллерией, значит, по ним на дальних расстояниях действует. Вот докуда спятил: по маленьким-то ребятенкам из пушек палит!..

– Ну а из прежних жильцов никто не съехал от тебя? – спросил я.

– Из прежних?.. Нет, никто. Здесь уж все так-то: как укоренится кто на каком месте, так уж или с этого места прямо в гроб идет, или, ежели он подхалюза какая, так фарталом прогоняют на другую фатеру. Кресты есть из таких-то для нашего брата-съемщика – и-их какие тяжелые! Потому наш брат должен им потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они к этому делу все равно как к каше с маслом привыкли...

И действительно, все кумовы жильцы, которых я знал у него прежде, жили у него и теперь, как бы сговорившись умереть в его темном подвале. По-прежнему над всем гвалтом крикливой подвальной жизни властительно царил назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, в ужасающих всякую душу лохмотьях и с рыжею, жидковатою бородой. По-прежнему эта ямщик-баба расшевеливает во мне уснувшую было глубокую антипатию к ней тем, что к каждому слову, с которым она обращается ко мне, прибавляет самым сладким голоском «ваше благородие» и «сударь-барин», рассчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать с меня полуштоф сладкой водки, особенно ею ценимой. А вот и эта старая девушка, неотходно сидящая в кухне на своем громадном, окованном железными полосами сундуке. Как назад тому много лет застало ее на этом сундуке

известие, что человек, любивший ее, уехал на родину жениться и увез ее кровных сто двадцать рублей, так она, без малейшего слова, раскачнула тогда еще молодую голову да так и теперь ею постоянно раскачивает, – только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая седая, сморщенная, некрасивая.

– Здравствуйте, Фаламей Ильич! – говорю я старому приятелю моему – башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпеть не мог, когда кто-нибудь называл его настоящим именем Варфоломея.

– Здравствуйте, сударь, Иван Петрович! – радостно приветствовал меня Фаламей, вставая с кадушечки, на которой он тачал башмаки, и лобызаясь со мною. – Давно мы, сударь, с вами компании не водили. Вы что тут ерзаете, мазурики? – обратился он к своим многочисленным ребятенкам, быстро отколупывая у них на головах масла маслаком своего собственного большого пальца правой руки.

Толпа ребятишек, неумоимо сновавшая и горланившая по подвалу, как и все подвальное, была, в свою очередь, такую же, какую я оставил ее, хотя приметил, что теперь она стала гораздо гуще, а следовательно, и неугомоннее; но и это обстоятельство несколько не изменяло кумова апартамента, потому что башмачник Фаламей не обделял никого из девчонок

и мальчишек, составлявших молодое поколение подвала, когда задавал им трепака и колупал масло, отчего молодое поколение носило на своих головах одинаково чесавшиеся больнушки, от которых, следовательно, ревело точно так же и в настоящем случае, как ревело за год перед этим, ни на полтона даже не повышая и не понижая своих голосов.

Да, все обстояло в подвале по-прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И господа! До того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожидания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей братии.

Уныло и молчаливо отошла от меня, как говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:

«Ну, что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немнож-

ко посократишься, а он все такой же... Что задумался-то? Глаза-то что на нас так пристально выпучил? Нечего на нас пучить глаз, потому узоры на нас всё те же...»

Шептали мне черные стены эти слова с какою-то особенно выразительной насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и настаивать на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.

Так, я помню, в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурацкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седою головой и язвила меня острыми стрелами разных народных пословиц, вроде, примерно, следующей:

– Эх, дитя! Не будет в тебе путя...

До слез, бывало, понимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шепоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.

IV

– Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! – этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик-кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). – Так вот за это я тебя недолюбиваю, – повторил Обгорелый. – Выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит, и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.

– Что же это, я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, – сказал я, – а про Катю не спрошу: где она у тебя?

– Помалчивай до поры до времени, – с какою-то плутоватою улыбкой ответил мне кум. – Мы тут такую-то крутую кашу завариваем, и как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!

А Катя, про которую я сейчас осведомлялся у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой

притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, по-видимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжищи и добрище свойственна всей гольтепе вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица как в трубу затрубила.

– Одних шинелей у него три, – по секрету перешептывались между собою соседские бабенки, – сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит, а? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? – даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок. – Околеет ведь, старый шут, глаз некому будет закрыть.

– Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше! – вступалась другая, – а ты вот что послушай: видели у него бумажек денежных вона сколько!.. – и при этом бабенка, припрыгнувши, чтобы быть порослее, взмахнула рукой над своею головой, желая означить тем, сколько именно у идола-солдатища было денежных бумажек. – Теперича, – продолжала она, – видели у него также целый сундук с образами, и все-то они, батюшки мои, в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных...

На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторою темною ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу солдату.

– Она у него счастлива будет! – рассуждала молодая мать. – А то, поди-ка, из воспитательного дома кому еще на руки попадется...

– Вона сокровище какое господь мне, старому шу-ту, послал! – сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев. – То тридцать лет с ружьем нянчился, теперь же вот с чужой дитей придется понянчиться, а там уж, верно, судьба за прялку меня усадит...

Поворчал-поворчал Обгорелый таким образом, а все-таки послушною нянькой уселся наконец за детскую колыбель и своими песнями, петыми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.

Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так губельно воняющей почве подвалов рождаются существа с головками, улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников, – не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, кого в том подвале хотела природа удовлетворить, творя этот гибкий, как наша стройная отечественная

сосна, стан; но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что ундер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером описать, – был, есть и будет царевной моего одинокого сердца...

Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия о ином, внеподвальном свете. Я много раз примечал, как цветущая белокурая головка улыбалась, радуясь такому свету; но улыбка эта, дававшая мне столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо в то время, когда в ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы – бородастой свахи Акулины, сам подвал в этот момент, мне казалось, начинал покачиваться, словно бы жалея о чем, и, как-то сокрушительно улыбаясь, шептал мне:

«Ах, Иван Петрович! Голова ты этакая болезная! Ну на что это нам? Ну что мы с этим добром поделаем? Помни ты мое верное слово, Иван Петрович! Будет у нас с тем добром не в пример больше слез, больше и вздыханий».

И так крепко донял меня подвал такими словами, что я однажды сказал подвальному цветку:

– Прощай, Катя! Ухожу из Москвы на родину. Хочу посмотреть, по-прежнему ли наша матушка-степь

своей красотой сияет.

Говорю так и смеюсь, и она смеется.

– Ой, – ответила она, – не ходите, Иван Петрович! Люди, Иван Петрович, переменнее степи всегда бывают, об этом во всякой книжке говорится, какую мы только с вами читали.

Я даже хотел было остаться, смотря на эту улыбку, с которой Катя говорила о том, что люди изменчивее степи. Так много обещала эта веселая, добрая улыбка! Но, к счастью или к несчастью, подвал опять зашептал мне:

«Ты что же это, Иван Петрович, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя тогда своими старыми стенами в прах раздавлю...»

Унося мою больную голову от гибели в этих так мрачно глядевших стенах подвала, я пошел. Пошел я, куда глядели мои глаза, и когда, возвратившись назад, спросил у кума, где Катя, он только ответил мне, что я счастливеец, подоспевший к весьма крутой каше. Ответ, как видите, весьма замысловатых и таинственных свойств; но я, изучивший нравы девственных улиц, сразу понял, по какому именно поводу и из каких круп заварилась эта крупная каша, – понял до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и зануло от той страшной боли, которую подарило его это ясное понятие о предстоявшей каше.

– Да, куманек! – снова повторил кум, задумчиво разглаживая свои усищи. – Признаться сказать: заварили хлебово! Не знаю только, как иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому стар я, ну и, значит, хлебывал вволю... Вот как хлебывал – до крови!.. Ну а молодым как покажется – не знаю, и ежели, то есть, не божья воля, так лучше бы мне скрозь зель провалиться, чем голубчику моему – дите моей кровной – то кушанье из своих рук подносить...

– А вы, дяденька, не ропщите, пытаму судьба наша известно от кого происходит... – вмешался в нашу беседу молодой, еще неизвестный мне парень, в синей чуйке, в смазных сапогах и ситцевой красной рубахе, видимо, мастеровой. Он был еще очень молод и потому сделал старому солдату свое юное замечание весьма сконфуженным тоном, и притом неуклюже переминаясь на деревянном, выкрашенном черною краской стуле.

– Молчи уж ты, голова! – сердито отозвался кум на замечание молодца. – Мы у судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся, так мы ее лучше тебя не в пример понимаем, какая она до нашего брата милостивая... Кум! выпьем с тобой, да не по рюмочке, а по стаканчику, потому скорбит мое сердце. Ох, какая лютая казнь одолела его у меня! Тебе, кум, об этой

казни своей прегрде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!

Но я давно уже понял лютую кумову казнь и потому с яростью истого плебея, приученного и, следовательно, привыкшего топить горе в стакане, выжрал стаканище, предложенный мне солдатом, опустил мою голову, послушно склоняющуюся пред всяким несчастьем, и стал по обыкновению прислушиваться к тайному подвальному шепоту, а подвальный шепот на этот раз был таков:

«Иван Петрович! – глухо и печально шептали стены, – знаешь небось ты нашу жизнь-то собачью? Ведь Катька-то у нас задурила... Ведь в степь-то тебя черт понапрасну таскал... Может, она, Иван Петрович, эта самая Катька-то, такой бы женой была верной, да доброй, да умной...»

А солдат в то же время с тщетно сдерживаемым рыданьем говорил молодому парню – нашему собеседнику:

– Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебе, паренек, надо час свой великий в полной муниции встретить!

– А я, дяденька, как вы сами изволите знать, – заикнулся было молодой парень, – насчет хмельного ни-ни, то есть, чтобы, то есть, одну каплю когда – ни под

каким видом...

– Будет, будет, жених, раздобары раздобарывать! – грозно прикрикнул на него кум, – Сами женихами бывали, знаем поэтому, как это ни капли-то, ни под каким видом... Пей, говорю. И ты, кум, выпей! Повторим мы с тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дело завсегда мы должны во всяческой полности.

И действительно, я давно уже знал свое горькое, всегдашнее дело – плакать и пить, и потому я с еще большим азартом повторил громадный стаканнице.

– Так-то вот лучше! – проговорил кум, когда вся наша компанияхватила по стакану. – Теперь словно бы отлегло маленько – полегче будто бы стало...

– Это точно, что будто полегче безделицу! – вступился молодой парень. – Только, дяденька, вы теперь беспременно меня поддержать должны, потому как это она в любви с ним находится, и как я должен с ней от него под честной венец идти, и мне это теперича вот в какой ясности приставляется – страсть! Сердце у меня от эвтого приставленья во как зажгло!..

– Пей, парень, ежели приставляется! – командовал солдат. – Когда маленечко ополоумеешь, всегда лекше становится. Ну! – прибавил старичина, внезапно озлобляясь, – ежели бы он мне попался когда, искрошил бы я его в мелкие дребезги! Хоронится завсегда, словно знает, что я бы его зубами изгрыз.

– Нет, вот мне бы господь когда-нибудь подал его в ручки ночкой какой-нибудь темненькою, – я бы тово... Прямо скажу: может, с живого-то вряд ли бы и слез, – продолжал мастеровой солдатскую речь.

– А кто это он-то? – спросил я, чувствуя, как горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, чувствуя, что и я, даже не в темную ночь, если бы встретился с ним, так с живого тоже вряд ли бы слез с него.

– Он-то кто? – переспросил меня парень. – Афицер один, богатый... А я допрежь ее знал, как на родную мать издали глядел на нее и глазами своими ее любовал... Может, уж года с три той моей великой любви прошло.

В это время за окнами послышался глухой стук московской пролетки – той шикарной, налощенной пролетки, с фордеком, на которых так называемые московские извозчики-лихачи катают барынь, по народному говору, вольного обращения, и вслед за этим стуком в подвал вошла Катя, шурша толстым платьем из черного глясе, сияя дорогой цветистой шляпой и золотыми браслетами на ослепительно-белых и маленьких ручках.

– Банжур, дяденька! – сказала она старому солдату, как-то особенно разухабисто и фамильярно. – Ах, Иван Петрович! – обратилась она ко мне, – какими судьбами?

– Дитя мое, дитя мое! Что ты с нами, с горемычными, сделала? – ответил я с громким плачем пьяного, и следовательно, необыкновенно тонко чувствовавшего сердца.

Потом я уже ничего не помню о той крутой каше, которая варилась в это время в подвале.

– Акулина! Акулина! – кричал, как мне помнится, мой кум. – Бежи скорее за причтом, – я уж всем им говорил, какая у нас история... А вы держите крепче, а то вывернется, ускачет.

– Ты опять тут, ты опять пришел! – кричала Катя, очевидно было и для меня пьяного, на молодого мастерового. – Я ведь сказала тебе, что не пойду за тебя.

– Рази лучше скверной девкой-то быть! – кричал, в свою очередь, мастеровой. – Опомнись, Катя, опомнись!.. Ведь они над нашим братом потешаются только, господа-то...

– Иван Петрович! – громко кричала мне Катя, – заступитесь за меня: не давайте меня благословлять, сироту, поневоле... Будьте свидетелем: не хочу я за него идти...

Но я уже не мог быть свидетелем для Кати в том, что ее благословляют поневоле за немилого замуж, по многим причинам, из которых самые главные были следующие:

– Ну, ты теперь ее жених! – угрюмо бубнил солдат. – Следовательно, все равно муж... Прибей ее, шельму, чтоб она от закона не отказывалась.

– Как же! – истерически всхлипывала Катя. – Погляжу я, как вы меня прибьете...

– А ты думаешь, не прибьем? – орал мастеровой. – Ты думаешь, сердце мое не болит? Вот тебе, будь ты проклята! Я, может, жизнь свою загублю, в церковь божию с тобой идучи, а ты в такое-то время по злодее по моем сокрушаешься.

Послышался звук пощечин и отчаянный крик женщины.

– Молодец, Абрам! – говорил солдат. – Так ее и следует. Опосля слюбится...

Но, повторяю, я ничему не мог быть свидетелем в это время, потому что сидел совершенно разбитый эту сценой, – сидел я, а Катя кричала мне:

– Подлец, подлец! Что же ты не заступишься? Зачем же ты иное-то всегда мне говорил?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?

Сидел я, говорю, немея от этих оскорблений, а подвал мне, кроме всего этого, свою речь вел:

«Видишь, Иван Петрович! Всегда я тебе толковал: уйди ты от нас, потому будет у нас от твоих слов большое горе... Господи! – взмолился старый подвал, как

бы подвижник какой святой, – когда только эти слова будут идти не мимо нас?..»

– Ох, горе! Ох, горе! – сокрушенно взывал мой старый кум. – Но, может, к хорошему, может, остепенится – в настоящий закон и послушание богом данному мужу войдет. Н-ну, только ежели он попадется мне когда в темном месте!..

– С бог-о-м, рр-ре-е-бятя! – командовал с печи старый сумасшедший капитан. – К-л-ладсь! П-л-ли! В ш-ш-тыки на вр-ррага. Ур-ра!..

Так смертельно раздражили его Фаламеевы ребятишки.

Затем вся компания без исключения, вследствие ни с чем не сообразной выпивки, потеряла сознание, и я уже ничего больше не помню...